

Александр Грин

Ива



Александр Грин

Ива

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=271452

Аннотация

«Начало легенды о Бам-Гране относится к глубокой древности. Округ Потонувшей Земли славится вообще легендами, среди которых Одноглазый Контрабандист, Железная Пятка и другие, давно уже повешенные бандиты, играют крупную роль, но самой выдержанной, тонкой, самой, наконец, изящной я считаю фигуру Бам-Грана. На этот счет мое мнение расходится с мнением остальных, когда-либо внимавших легенде; все же я остаюсь и останусь навсегда при своем. Особенно, если я закурил...»

Содержание

I	4
II	7
III	11
IV	14
V	19
VI	21
VII	23
VIII	31
IX	34

Александр Степанович Грин Ива

I

Начало легенды о Бам-Гране относится к глубокой древности. Округ Потонувшей Земли славится вообще легендами, среди которых Одноглазый Контрабандист, Железная Пятка и другие, давно уже повешенные бандиты, играют крупную роль, но самой выдержанной, тонкой, самой, наконец, изящной я считаю фигуру Бам-Грана. На этот счет мое мнение расходится с мнением остальных, когда-либо внимавших легенде; все же я остаюсь и останусь навсегда при своем. Особенно, если я закурил.

Да. Ничто лучше струи табачного дыма не приближает моей душе этот реальный и изменчивый образ существа с нежной, но лукавой душой, существа, созданного порывом ветра и фразой доктора-акушера. Как рассказывают, Бам-Гран родился в самую свирепую бурю, какую можно представить на берегу Тихого океана, от родителей, вполне способных произвести такого сына. Отец этого существа беседовал на Хуан-Фернандеце с тенью Робинзона или, вернее,

Александра Селькирка, так как автор снабдил знаменитого героя псевдонимом во избежание упреков от его родственников. Простой матрос благодаря этому разговору получил некоторые литературные сведения, а также указание относительно клада, зарытого сбежавшим из Монте-Карло кассиром лет пятьдесят назад. Клад состоял из пяти тысяч двадцатифранковиков, оставленных в славном учреждении преимущественно русскими Собакевичами и Базаровыми.

Разбогатец, матрос повел недостойный образ жизни и женился на ясновидящей, некоей Луизе Бастер, имевшей все данные сделаться второй Анной Гресс, не увидь она во время одного из сеансов нечто, посеребрившее ее волосы белой мукой страха. Она никогда никому не говорила об этом, и даже муж ее не узнал, отчего можно так испугаться, засыпая под блеском лунного камня гипнотизера Берга.

Наконец – все пропил матрос, все проиграл в карты, все раздарил фальшивым красноносым приятелям и дал, как водится в таких случаях, зарок вести лучшую жизнь. Лучшая жизнь, естественно, началась со страшной нищеты. В то время Луиза была беременна. Основательно протрезвившийся муж со страхом ждал увеличения семейства, но чем ближе подступало время родить, тем спокойней становилась жена. Выведенный однажды из жалкого своего равновесия кротким благодушием женщины, матрос начал исступленно кричать: «Если родится сын, пусть не будет у него ни семьи, ни дома, ни родины, ни денег; пусть он живет со зверями, вы-

растет скандалистом, и пусть всегда скалит зубы, как ты теперь, подлая. Если родится дочь...»

Едва он начал определять судьбу дочери, как помертвевшая от испуга женщина слабо подняла руку, успев сказать: – «Только не злой, не злой». Затем заклинание матроса, очевидно, произвело действие, так как с несчастной начались родовые схватки. Матрос бросился за доктором и привез его в самый нужный момент.

Когда рассказ о Бам-Гране подходил к этому месту его истории, рассказчик поникал головой, смотря исподлобья, делал произвольную паузу, затем, вещь протянув руку и блистая вдохновенным лицом, внушительно и быстро шептал, задыхаясь от естественного волнения: «Была ночь. Ветер ударял с силой пушечного снаряда. И вот – мальчик лежит на руках доктора. Едва были окончены хлопоты по этому делу, как доктор сел писать рецепт, а колокол на церкви, двинутый ветром, жутко раскатил: Бам... „Гран“, – сказал в это же время доктор, выписывая рецепт, вслух. Его рука застыла – заметьте – застыла, перо застыло, и родители застыли от ужаса: новорожденный, приятно улыбнувшись, помахал ручкой, чихнул и внятно произнес: „Бам-Гран“».

II

Молодой человек, пришедший из ивовых зарослей, что внизу, по отмели реки Адары тянутся на протяжении трех миль в длину и полуторы в ширину, не пользовался уважением населения, так как не удовлетворял основному требованию – «иметь здравый рассудок». О нем было известно, что он ведет жизнь дикаря, что он кого-то ждет и имеет непонятную цель, связанную со своей зарослью. Звали его Франгейт.

Его волосатая голова была обвязана синим платком; старый пиджак, подпоясанный широким ремнем на манер блузы, открывал шею и расстегнутый воротник смятой белой рубашки. Цвет брюк и состояние их можно вообразить, – но какой бытовик воздержится от указания, что они были оттопырены на коленях.

Лицо Франгейта являлось смесью обдуманной, упрямой силы с болезненно-тонкой восприимчивостью, – лицо глубоко чувствующего человека, способного, не морщась, нанести смертельный удар, если встретится неотстранимый вызов. Он был широкоплеч, сутул, тонок в талии, ступал крепко и медленно, смотрел прямо и, когда улыбался, застенчивое озарение широкого смуглого лица выказывало белые ровные зубы, блестящие, как у девушек. Его волосы и глаза были почти черны; он не расставался с коротким ружьем, висевшим всегда на его правом плече вниз прикладом, и ку-

рил маленькую японскую трубку, набивая ее в рассеянности иногда так крепко, что огонь не просасывался.

В этот день Ахуан-Скап мог по праву гордиться тем, что на него обращены глаза всего мира. Отношения между солнцем и луной достигли противоречия, называемого обыкновенно «затмением». Задолго перед тем компетентные люди установили и объявили повсюду, что на этот раз затмение можно отлично наблюдать именно из Ахуан-Скапа, в силу чего затерянный полудикий город, преподнесший астрономам такое редкое лакомство, должен был отпраздновать свою пчелиную свадьбу, погрузясь затем снова в так громко потревоженное забвение.

Как ни был озабочен Франгейт тем, что в неизвестной стране чужие люди покупали за деньги право смотреть на лицо девушки, увлеченной ярким огнем созданной из пустяков жизни, как мучительно ни разрывал он любящей мыслью тяжелое, глухое пространство, скрывающее где-то в бесформенном слиянии всех вещей и явлений его стройную Каррион, — он не мог не обратить внимания, что город принял важный, шумный и такой чистый вид, какого не было со времен последнего циклона, выбившего из всех улиц и тюфяков пыль не хуже голландки, моющей свой тротуар мылом. Дома были украшены флагами. С балконов свешивались ковры и цветные материи, а у фонтана, где бегали и приплясывали ребятишки, играл хор трубачей, торжественно шевеля золотом больших труб. Кроме того, всюду развивалось самое

усиленное движение: по шоссе, огибающему скалистый узор горных возвышенностей, неслись расфранченные экипажи, полные разодетой публики, лошадиные зубы и скулы которой, совместно с золотыми набалдашниками тростей, ярко сияли от солнца. Время от времени видел Франгейт фигуры, вызывающие представление о костях, – нескладные старики, в очках, с ящичками и какими-то инструментами под мышкой, озираясь дико и неприспособленно, стремились, развеивая полы макинтошей и пряди седых волос, к какому-то таинственному пункту. Нечто похожее видел Франгейт один раз, когда в город нагрянула партия землемеров. Меж тем все или почти все, кого встречал он, смотрели вверх, задрав головы, на лицах же появилось столько темных очков, что все, казалось, ослепли или тренируются в выпрашивании милостыни под незрячих. Кроме того, прошествовали шагом в сопровождении чрезвычайной охраны четыре большие подводы, нагруженные большими и малыми телескопами в зеленых чехлах, открывающих пронизательному взору уличной детворы свои медные части, вычищенные до боли в глазах.

– Быть может, – сказал Франгейт одному из тех людей со старческими, сухими лицами, осматривать которых ему доставляло не меньшее удовольствие, чем некогда взирать на мумии в Лисском музее, – может быть, вы объясните мне снисходительно, что значит этот гром, блеск и оживление?

Приезжий остановился, строго лоя сверх очков, не дер-

зость ли блеснет в лице вопрошателя, но Франгейт смотрел на него лишь любопытно и кротко.

– Я вижу, вы не здешний, – сказал старец, беря Франгейта за пуговицу пиджака и отводя в сторону. – Вот! – Он извлек золотые часы с хрустальной крышкой и сунул их к глазам Франгейта. – Мы имеем точное время – десять часов сорок три минуты одиннадцатого утра 22 февраля тысяча девятьсот двадцать третьего года, а в двенадцать с одной минутой первого того же числа и этого же года начнется солнечное затмение, которое продлится один час и сорок минут. Труба упала! – вскричал он затем, яростно потопал ногами и ринулся к подводе, где загремели небесные принадлежности.

«В таком случае, – подумал Франгейт, – надо торопиться. Если я не куплю теперь же пороху, крючков, пистонов и табак, лавки, несомненно, закроются, так как часть торгашей будет ожидать конца мира, а другая – начала дневного света, покупатели же исчезнут на крыши».

На рынке Франгейт увидел на возвышении человека, размахивающего руками; вокруг него, покатываясь от смеха, роилась рыночная толпа.

III

Туда пока что трудно было пробраться. Настроенный невесело, Франгейт задумчиво смотрел на развлекающуюся толпу, машинально прислушиваясь в то же время к разговору под навесом рыночного трактира. Разговор этот, с трубками в зубах, вела компания трубочистов; их ведьмины хвосты, которыми прополаскивают они щели труб, свешивались с их плеч ниже сиденья вместе с остальными орудиями пыток. Нет еще автора, который описал бы физиономию трубочиста без мыла, поэтому и мы не посягаем на трудную задачу, а предоставляем солнечному лучу, проникающему сквозь дыры холста трактирной палатки, играть на лицах негритянского цвета с европейскими очертаниями.

Каждый раз, как прихлебывал трубочист из стакана, немного черной мути осаживалось с усов на дно.

– Так вот, – говорил наиболее пьяный из них, – я не настолько пьян, чтобы нести вздор. А все это штуки Бам-Грана, которого давно уже не было в нашем городе.

– Давно или недавно, – сказал другой, – а сдается, что начинается похожее на ветер с горы.

– Что же это за «ветер с горы»? – спросил гуртовщик, пересев из угла к столу.

– Ветер с горы... Э, это страшная вещь, – сказал трубочист. – То дело произошло лет двадцать назад, когда в Аху-

ан-Скапе не было и половины домов. Слушайте: начался ветер. Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она еще, слава богу, жива. Не был он ни силен, ни холоден, но дул все в одну сторону и намел песку с подветренной стороны к стенам фута на три. Наступила такая тоска, что хоть вешайся. Действовал этот ветер, как вино или горе. Все побросали свои занятия, лавки закрылись, мужья бросили жен и ушли в неизвестную сторону. В то же время четырнадцать человек кончили самоубийством, спился целый квартал и сошла с ума добрая половина. Вот что такое «ветер с горы». Я сам чувствовал себя так, как будто потерял дом и семью и надо идти разыскивать их где-то на краю света. Но известно, что все это штуки Бам-Грана. Однажды...

– А кто такой этот Бам-Гран? – спросил молодой солдат.

Вопрос был, очевидно, так неуместен, невежествен и невежлив, что рассказчик, зацепив бороду черной клешней, крякнул, посмотрел вверх и горько покачал головой. На тупило молчание, а незаметно для себя, но сильно покрасневший солдат стал беззаботно крутить ус, смотря в пространство с напряжением затаенной обиды.

Заинтересованный, Франгейт подошел ближе.

– Слушай, молодчик, – начал поучать дерзкого трубочист, – скажем, идешь ты по улице и видишь, что тебе несут на блюде жареную свинью. Хорошо. Не спрашивая лишнего раз, почему и как эта свинья, берешь ты ее в обе руки и

ищешь места, где закусить, а свинья преспокойно слезает с блюда, идет рядом и говорит: «Экий ты дурак, братец. Экий же ты осел, молодой человек». Так вот это и есть Бам-Гран, если только он вознаградит тебя тут же, толкнув под ногу золотую монету.

Гомерический хохот окружил растерявшегося солдата. Перебивая шум, трубочист продолжал:

– Бам-Гран ходит в зеленом сюртуке, на голове у него цилиндр, жилет модный и брюки модные, а сапоги блестят, как зеркало. Если ты его встретишь и поладишь с ним, то он сделает тебе все, что ты хочешь, хоть клад достанет; кроме того, знает он птичий и звериный язык и может показать в любом месте земли, что там делается. Но он, видишь, очень нервен, и угодить ему трудно, как барышне, если она, закатив глаза, начнет бить ногами и требовать немедленно яду, а если не угодишь, то он исчезнет, как все равно – пфу.

Улыбаясь, Франгейт двинулся дальше, попав теперь как раз на пустое место, с которого расходилась толпа и где можно было почти вплотную придвинуться к возвышению.

IV

Еще не начиналось затмение, но легкие облака, время от времени набегая на солнце, как бы готовили жителей для предчувствия его великой ночной тени. Как это, так и другие настроения смешанного характера, напоминающие не то объезд, не то нашествие гастролеров, тронули уже душу Франгейта беззвучной мелодией, располагающей к странностям. Но был он все же громко озадачен тем, как выглядел человек, стоявший на бочке – именно тот человек, вокруг которого толпились и зубоскалили обыватели. Франгейт даже вздрогнул и отступил, невольно оглянувшись на палатку трактира, где нарисовали ему портрет легендарного фантома, – так точно описал трубочист костюм человека на бочке.

Легким движением воли отогнав суеверие, Франгейт внимательно присмотрелся. Острые, как шпильки, глаза смотрели прямо на него с лица, очень худого, но не болезненно; могучий и кроткий сарказм змеился в углу тонких губ, обведенных длинной золотистой бородой, завивавшейся наподобие штопора и висевшей ниже второй пуговицы цветного жилета. Темно-зеленый сюртук скрывал до колен тонкие ноги, небрежно заведенные буквой Х. Большой палец правой руки был засунут в верхний карман жилета, отчето острое плечо пыжилось вверх соответственно такому же напыщенному выражению локтя, подрагивающего так неза-

висимо, что хотелось снять шляпу; левую руку держал он вытянутой вперед, показывая небольшой ящичек, содержимое которого рассмотреть было довольно трудно, – блестяло там и темнело нечто искрящееся. Высокий цилиндр делал рост субъекта еще больше на взгляд. Маленькие огненные усы под острым, тонким носом закручены были вверх с отчетливостью осенних былинки, рдеющих на солнце торчком. Но невозможно было уловить основное выражение лица – оно менялось с непрерывностью бегущих теней. Рассмотрев основательно наружность, Франгеит начал наконец понимать, что выкрикивает этот человек таким бесподобно оглушительным петушиным голосом:

– Почтенные люди, думающие, что я смеюсь над вами, сделайте серьезное лицо и берите из первых рук первый товар в мире. Нигде нет таких закопченных стекол, как у меня. Они выкопчены на свечке самоубийцы и выломаны из развалин древнего храма Атлантиды, где умели делать стекло тогда, когда предки ваши еще ловили когтями летучих мышей. Обратите внимание, что, купив у меня стекло, вы тем самым равняетесь с орлами, взирающими, не моргнув, на солнце. Таким образом, вы лично убедитесь в существовании протуберанцев и солнечных пятен, – следовательно, в том, что наука не лжет, а это дает спокойный сон самым пытливым умам. Кроме того, на что вы ни взглянете через такое стекло, все явится перед вами в самом неожиданном свете. Обладая им, можете вы быть уверены также, что вам повезет в игре,

любви и политике. Не прося дорого, даже совсем не прося денег, требую лишь, чтобы желающий приобрести это замечательное стекло, тотчас и единым духом вышвырнул все до одной монеты, какие у него есть, на землю или отдал первому встречному.

– Нашел дурака, – сказал мясник, сунув под передник руки и оглядываясь на других, с негодованием внимавших оратору. – Пойду я, разобью банку из-под варенья и накопчу, сколько хочу.

Тотчас несколько человек поддержали его горячими заявлениями о том, что первый раз видят наглеца или сумасшедшего, пытающегося ограбить их таким лукавым и непонятным способом. Тем временем некая проворная девица, растолкав любопытствующих, протискалась к человеку в цилиндре и, самоотверженно кинув через плечо мелкую медь, так как более ничего не имела, получила от продавца кусочек черного стекла, немедленно навела его на своего кавалера, но, с визгом бросив стекло, побледнела и перекрестилась. Тотчас обступили ее подруги, соболезнуя и спрашивая; бясь в их объятиях, отталкивала она также и кавалера, крича, что ее околдовали.

Франгейт немедленно подошел к ней, пытаясь узнать, в чем дело. Смущенный не менее своей подруги, кавалер приступил тоже с расспросами.

– Ах, ах, – выговорила сквозь слезы девушка, – если бы ты знал, как выглядишь ты через это стекло. Бог с тобой, не

хочу тебя обижать, но, право, сердце мое сгорело, так похож был ты на обезьяну с собачьей мордой... Не покупайте! Не покупайте! – завизжала она, топчя стекло, – вон его, вон бевсовское копченое производство.

– Молчать! – громовым голосом крикнул человек с бочки. – Не поддавайтесь истерике. Верно, пробежала тут случайно собака, а где-нибудь взвизгнула обезьяна... Много ли надо для девичьего овечьего сердца. Раз, два – и готово оскорбление кавалеру. Почтенный пострадавший, идите сюда. У меня есть для вас наиудобнейшее закопченное стекло, с помощью которого вы, направив его на собаку, немедленно различите в ней лучшие человеческие черты, и обида ваша окажется торжеством. Но только швырните деньги и наступите на них. И бойтесь обмануть меня размером отвергнутой суммы, ибо я вижу во всех карманах так же просто, как вы – друг друга. Несчастный обескураженный, слушайте, что говорю я!

Еще не знал Франгейт, потешаться ли ему этой сиеной или принять в ней какое-нибудь участие, как начал, сначала тихо, а потом все громче, перелетать шепот: «Бам-Гран. Бам-Гран. Бам-Гран. Слепые и дураки, слышали вы о Бам-Гране?.. А если слышали, то вот он, вот. Бегите – это и есть Бам-Гран. Старуха его узнала».

– Что за болтовня... – сказал Франгейт, обернувшись к наводящему на человека с бочкой револьвер охотнику, вытаращенные глаза которого уже чем-то стреляли. – Устыди-

теть, приятель.

Но вяло произнес он эти слова. К его сердцу подступил холод неведомого события. Минутами казалось все сном, мгновениями – оглушительно ярким, как если открывать и закрывать форточку на шумную улицу. Револьвер стукнул возле самого его уха, но Бам-Гран, если это был он, засмеялся и спокойно махнул рукой; из нее тихо перелетела обратным путем горячая пуля, попав охотнику в бороду. В это время дневной свет был уже неестественно дик и сумрачен.

– Начинается! – закричал кто-то. Успев подсмотреть, как с негодованием и ужасом охотник выцарапал из бороды пулю, Франгейт, а за ним все подняли головы к почерневшему глубоким отрезом солнцу; немощно, полумертво горело оно, почти без лучей, в грозном смятении.

Великая тень вылилась с высот на землю. Тогда все, уstraшенные зрелищем, пустились бежать, и скоро площадка перед бочкой опустела; пуста была и сама бочка, и Франгейт с отчаянием заглянул под нее.

V

Везде хлопали полотняные навесы, трещали замки – то закрывались лавки. Темно было уже, как перед сильной грозой.

Сердце Франгейта болело и горело теперь от страха, что исчез навсегда Бам-Гран, которого он принимал слепо. Как с нами, когда, после череды томительных глухих дней, полных всякого ожидания, случается что-либо, внезапно подхлестывая замершую жизнь счастливым ударом, и мы, наперелом двух настроений, делаемся горячи, легки, нервны и певучи, еще не входя в подробные разъяснения громкой случайности, – так Франгейт вышел в то мгновение из круга в прорыв, даже не подумав о том, но следуя лишь душевной повелительной жажде, в надежде столь странной, что и размышлять об этом было бы ему не под силу.

– Бам-Гран, – вскричал он, даже не прислушиваясь к своему голосу, как бывает не при неуверенности, а от полноты страданий, – Бам-Гран! Я брошу все деньги, только покажите мне.

– Бросай, – раздалось где-то так лукаво и тонко, как на пискливой ноте замирает скрипичная струна...

«Не мышь ли пискнула?» – подумал Франгейт. Однако он не колебался, подобно тонущему, срывающему с себя одежду, и, вывернув судорожно карман, мрачно разбросал все

немногие свои монеты, топнув от нетерпения ногой. Тотчас взял его кто-то под руку. Рванувшись, он увидел цилиндр, под ним неукротимым синим огнем блестели насмешливые глаза.

VI

Пустынно было кругом.

– Я знаю, – начал Франгейт, – как скучно выслушивать чужие истории, но...

Собеседник перебил его, сказав:

– Рассказ должен быть интересен. Я должен быть заинтригован или растроган. Без этого у нас ничего не выйдет. Вот щель; войдем в нее, как два луча: зеленый и желтый; но страха не должно быть у тебя, я ведь Бам-Гран, Бам-Гран, я – большой звон. Слушай меня в сердце своем; я хочу играть, вечно шевелить пыль, – он топнул ногой и свистнул. – Маленький смерч для начала, крошечный, как хвостик козы, – затем будем говорить.

Тотчас две струйки ветра выползли из-под ног Франгейта и, крутя с пылью бумажку, темным винтом проплыли, на манер вальса, в неестественную тьму этого дня. Меж двумя лавками, на груде ящиков с соломой, Бам-Гран уселся, вытянув и скрестив ноги. Перемогая оцепенение и головокружение, Франгейт прислонился к стенке. Думая, что говорит громко, – так было сильно его волнение, – он тихо и быстро шептал; когда же очнулся, возле него никого не было, лишь два пальца, прямо против лица, торчали из щели деревянной стены лавки, помахивая черным стеклом.

– Против большой ивы, на косе у красного бакена, – за-

шептал некто сквозь стену, – не отнимая глаз от стекла, смотри на воду и вокруг; появится множество людей, не достигших цели. С ними разговор короткий: просто молчать. Но как только увидишь человека с важным и тихим лицом в старинном костюме, прикладывающего к сердцу пистолет, громко скажи ему: «Подожди, Рауссон, есть слово и для тебя». Тогда увидишь, как поступать. Есть часы разные, но нет лучше часа затмения. Оно началось, ступай.

VII

Не размышляя и не ожидая ничего более, Франгейт поспешно выбрался с опустевшего рынка. На улицах снова ла толпа; присев, выли собаки; где-то пьяный стрелял в луну, надеясь простым убийством девственницы вернуть дню блеск; в небе же среди равнодушно блестящих звезд сиял слабый кольцеобразный свет вокруг черного, зловещего ядра, которое, казалось, и есть само потухшее солнце.

Повернув к реке и одолев плоские скаты, за которыми далеко внизу тянулась обширная ивовая заросль, Франгейт невольно поддался впечатлению, что стоит ночь. Смыкаясь над его головой, мрачные завалы кустарника изредка пропускали звезду, но пахло сухим песком и нагретой зеленью, чего не бывает ночью. Птицы, трагически свистя крыльями, носились в тоске, и их изменившийся, уstraшенный крик пугал, как неожиданный стон. Путаясь и торопясь, избитый по лицу ветвями, прошел Франгейт к тысячелетнему дереву; меж ним и материком, чернея, блестела вода.

Он прислонился к стволу под спадающими вокруг листьями, далеко впереди него трогающими воду, колеблющую и отстраняющую их быстрым течением. Запах сырой реки стал крепче, острее пахло песком, цветы и листья, казалось, возбужденные всеобщей тишиной, излучали острый, отчетливый аромат.

Тут, немного передохнув от ходьбы, Франгейт вынул из кармана стекло.

Оно было не больше ладони, но толще, чем обыкновенные оконные стекла, и закопчено только слегка в исчерна фиолетовый тон. Прежде чем начать его испытание, прошел он немного вправо, где меж двумя пнями наклонно торчал ивовый прут с выбегающими из влажной, как будто отпотевшей коры новыми узкими и яркими листьями. Они были еще нежны и слабы, как почки, но в глазах Франгейта превосходили всю красоту остальной всякой растительности.

– Мое чудо, – сказал он с суровой глубиной одинокого восхищения и дрожащей рукой подержал один листик снизу, как держат за подбородок ребенка. И, вырвав вздох, медленными кругами повернулись перед ним три года тоски.

Вокруг прута было выведено на песке множество раз одно и то же имя: «Карион». «То ли, что я писал это, помогло зацвести пруту, – размышлял Франгейт, – или есть на то причины таинственные?» Поддавшись мгновенному внушению, он извлек стекло и посмотрел сквозь него на зеленеющий прут.

У корней двигалось, присев на корточки, ничтожное существо, в капюшоне и длиннополом халатике; крошечные турецкие туфли были ему велики, и он поправлял их, топая сердито ногой каждый раз, как, поспешив, оставался об одной туфле. Франгейт безошибочно видел, что существо работает увлеченно, но не мог различить движений, а также

предметов, с помощью которых орудовало это создание. – «Крыса, что ли?» – нетерпеливо сказал он, трогая ногой упавшего кувырком верхкового старика. «Не крыса, но доктор растений, – гневно завизжало создание, – вы совершенно меня расстроили, и я пролил свой хлорофилл. Желая вам наступить на змею». Он скрылся, а Франгейт стал щупать траву на том месте, где стоял карликовый доктор, но комары, жутко напав стаей, нестерпимо изжалили его, и он выпрямился.

– Будет дело, – сказал Франгейт, весь дрожа, как в те минуты, когда в лесу его удочки водила большая рыба. Вновь поспешил он к тысячелетней иве, прикрыв глаза чудным стеклом, и, прислонясь к стволу, замер.

Прошло очень немного времени, как услышал он ровный плеск весел; глухо шумя песком, на отмель выползла, перевалясь, лодка. Начала светиться вода и стала прозрачной, как будто вся глубина ее слилась с воздухом. Тогда увидел он странную форму большой мели, которую представлял ранее треугольником; она имела вид виноградного листа, с отвесным обрывом на глубине, по обрыву всплывали и опускались черные палки рыб. Меж тем, сидевшие в лодке встали, вооруженные с головы до ног, вышли гуськом. – «Наконец-то, – сказал первый, с суровым и неприятным лицом, – черный клад у острого камня дался нам в руки». Но красный блеск выстрела мгновенно опрокинул его; выстрел был из кустов, и двое живых, прячась за лодкой, открыли встречный огонь. –

«Билль опередил нас», – сказал шепотом, умирая, второй с лодки, и, тихо повернув ее, третий, живой, скрылся за поворотом реки.

Сказать, что Франгейт слышал выстрелы, было нельзя, но он переживал их. Еще светлее стало на берегу и, как нарисованные на прозрачном озаренном стекле, выделились тончайшим узором все стволы, ветки и листья: сквозь них до самого горного ската можно было бы читать справочный петит «Зурбаганского Ежемесячного Глашатая». По обширному плато ивовой заросли мерцали и плыли клады. Бочки среди костей, с лопнувшими в земле обручами, открывали тусклое золото; малые и большие бочонки, набитые драгоценностями, спали между корней, и жуки точили их дерево. Среди этих гробниц какой-нибудь истлевший холщовый узел или горшок с окисленным серебром жадно таились на глубине двенадцати футов, в то время как целая лодка, увязанная и обитая кожами, тащила драгоценную утварь времен Колумба.

Меж тем, не было теперь места на реке и на берегу, где встретил бы взгляд пространство, свободное от тел человеческих; даже у ног Франгейта дремали с карандашами в зубах пуделеобразные поэты, и сладкие стоны их взывали к ускользящей вечности. В кустах возлежали лентяи, почесывая грязную шею и мечтая о женитьбе с приданым. Их собаки неодобрительно спали задом к небритым физиономиям. Усидчивые рыболовы, скорчившись, как калмык на сед-

ле, гипнотически приникали взглядом к таинственному волнению поплавка, а внизу, на глубине приманки, прожорливые, поседелые в боях рыбы осторожно откусывали ту половину червяка, где не колот их рыло крючок. Пьяницы с бутылкой в руках, растроганно обращаясь к каждому дереву с торжественной, но маловразумительной речью, шатались, выискивая укромное место, и, сев циркулем, приступали к священнодействию, потирая руки. Среди этой толпы, полной одинокого смеха, возгласов, звучащих рассеянно или со скорбью, далеких, настораживающих зовов, появились черные лодки пиратов. Они гребли, налегая на весла, и у их ног бились связанные женщины.

Наконец появились люди, не достигшие цели. Они двигались над водой, против течения, с взглядом, направленным в глубокую и ясную даль. Франгейт не ошибся, разглядывая их с сильным сердцебиением. Сначала было их не так много, не более десяти сильных, но усталых фигур, затем вся тень, подобная туче, стелющейся над водой, рассеялась, зашумев вокруг него неудержимой толпой и бесчисленным блеском упорных взглядов, направленных к невидимому препятствию... – «Не падай, – сказал кто-то рядом с Франгейтом; в ответ послышался стон. – Немного... еще немного терпения». «О, нет более сил». – «Тогда я пойду один». – «Не ходи этой дорогой, она трудна». – «Значит, это моя дорога», – сказал невидимый голосом, напоминающим треск сердито захлопнутой двери. Все более раздава-

лось слов, песен, рыданий и восклицаний. Но вот выделился из толпы красивый, как грозный свет вечернего окна, стройный и важный человек с тихим лицом; улыбаясь, он отошел в сторону, провел по высокому ясному лбу белым платком и, расстегнув камзол, приставил пистолет к сердцу. «Будь счастлива, дорогая, – сказал он, – мой путь кончен, я ухожу».

– Стойте! – крикнул, похолодев, Франгейт, так как вдруг опустела река, и берег вновь погрузился в тьму; все отшатнулось, пропало. Лишь темный силуэт с белым платком вглядывался в него. – Остановитесь, – продолжал Франгейт. – для вас есть дело, и это дело – мое. – Вспомнив, что искажил фразу, назначенную самим Бам-Граном, он торопливо поправился, прокричав: – Стой, Рауссон, есть дело и для тебя.

– Слова не имеют особенного значения, – сказал тот, кого назвали Рауссоном, – я понял вас с первого обращения.

Подойдя, он мягко взял руку Франгейта маленькой, горячей рукой и крепко пожал ее.

– Только безумное сердце остановит меня, – сказал он, – безумное, как мое. Ваше сердце такое. Скажите, друг мой, что я могу сделать для вас?

Франгейт опустил стекло, – оно упало меж корней в воду и навсегда исчезло. Но Рауссон был тут; солнце, как при раннем рассвете, уже могуче и щедро искрило воду реки, освобождаясь от тени, а печальная рослая фигура самоубийцы, полная случайной жизни, оставалась стоять рядом с Фран-

гейтом, и тени их, две, чернели на засветлевшем песке.

Стараясь говорить кратко, Франгейт рассказал про девочку и ее прут. Прут был неочищенная от коры удочка, которой она с ним вместе ловила рыбу.

– Она танцевала, – с горечью сказал он, – еще совсем маленькая, она танцевала так хорошо под любую музыку, что ее заставляли иногда сделать это. Наши семьи были соседями. За все время нашей дружбы я сделал ей более сотни удочек, но, когда она выросла и стала носить длинное платье, она все чаще поглядывала на пароходы и не раз намекала, что нам придется скоро расстаться. Довольно вам сказать, что в этой иве мы облазили все кусты, играя в разбойников, и мне очень не хотелось, чтобы она уехала, но ей так вскружили голову ее танцами, что она все время смотрела на свои ноги, и, откровенно сказать, я тоже любовался ими. Последний день стояли мы здесь, на этом самом месте, затем она села в лодку, и я выстрелил, чтобы остановить пароход. Мы отплыли немного, чтобы нас не слышали другие провожающие. – «Слушай, Карион, – сказал я, – останься, здесь на реке так хорошо и светло». Но она была смущена, смеялась и шутила уклончиво. – «Подумай, что ты прочтешь мое имя в афишах», – сказала она. Я молчал. Тогда она взяла одну из удочек, что лежали здесь, воткнула ее и легкомысленно произнесла: – «Я вернусь, если этот прут зацветет. Иначе, ты можешь меня презирать до конца дней». Кто внушил ей такую мысль?.. Немедленно я вынул нож и сделал отчетливую на

пруте зарубину. – «Узнаешь ты эту метку?» – сурово спросил я. Немного струсив, она поклялась, что узнает. Тогда я сказал: – «Здесь, где я тебя отпустил, я буду ждать и не уйду никуда, пока не зазеленеет твой прут», – и с той же минуты свято поверил в это. Она холодно выдернула свою руку из моей и пошла к лодке задумчиво. Прошло три года, не было от нее ни письма, ни слуха о ней; ее брат тоже уехал, мать умерла. Раз десять в день ходил я смотреть на ту удочку, что торчит там, между двумя пнями, пока третьего дня не увидел, что на ней вспухли четыре почки, и стал несколько сумасшедшим. Теперь необходимо узнать, где находится эта, – а она всегда говорила правду, она всегда держала слово, – эта маленькая увлекающаяся девушка.

Некоторое время они молчали. Рауссон посмотрел вдаль и как бы отсутствовал.

– Вы поступили правильно, – сказал он, – и я в совершенном восхищении от вашей истории. Пространство огромно, в нем нет еще указаний. Представьте себе ясно ее.

Не было ничего легче для Франгейта в эту минуту.

– Ну, так, – сказал Рауссон, – вы отправитесь в Сан-Риоль и спросите в театре Элен Грен.

– Но... – начал Франгейт, – ее, как я вам сказал, зовут Карион.

На это он не получил ответа. Полный блеск солнца воскресил уже зелень пустыни, и голубое над синей рекой пространство улыбкой трогало далекие горы.

VIII

После солнечного затмения жители Ахуан-Скапа были, среди общего благополучия наблюдений, несколько скандализованы заявлением двух астрономов, передававших по секрету всем, кто мог или хотел им верить, что луна окривела на правый глаз, почему, сочтя неудобным из деликатности лорнировать ее посредством телескопических стекол, ученые мужи поспешили вознаградить себя обильным возлиянием на веранде «Тропического кафе» под мелодию «Марша идиотов» (бывшего о ту пору в большой моде). Одновременно с тем некоторые прохожие, воспользовавшиеся для любознательных своих изысканий осколками темного стекла, разбитого на базаре истеричной девицей, были смущены тем обстоятельством, что солнце грозило им кулаком... Хотя в компетентных кругах наиболее посещаемых харчевен сии противоестественные случайности были приписаны Бам-Грану, газеты таинственно молчали, оставляя каждого думать, что он хочет.

В настроении вышеописанных событий плотно пообедавшая компания пассажиров, наслаждавшаяся летним вечером на шезлонгах палубы парохода «Адмирал Гент», стала постепенно говорить о вещах, привлечших сосредоточенное внимание одинокого пассажира с кожаной сумкой через плечо, сидевшего пока в стороне. Он пересел так, что очутился

сзади кружка, и, слушая, не раз пытался вмешаться в разговор, но удерживался. Однако было произнесено имя, после которого он судорожно, глубоко вздохнул, решив о чем-то спросить.

Между тем седой, плотный бакенбардист, вытянув огромные ноги в зеркальных сапогах, сказал:

– Решительно она затмила ее. Элен нервнее и эластичнее, но у этой Марианны Дюпорт бесподобная техника, кроме того, множество мелких неожиданностей жеста, производящих обаятельное впечатление. Исход борьбы меж ними решен. Я высчитал это с метром в руках по столбцам театральной хроники «Обозревателя», и, как сейчас помню, на Элен Грен приходится десять дюймов за неделю против двух с половиной метров «блистательной Марианны».

Предупреждая смех слушателей, человек с сумкой обратился к бакенбардисту:

– Позвольте спросить вас, – сказал он при всеобщем несколько ироническом внимании, – разговор, кажется, идет об Элен Грен, артистке театра?

– Именно так, – ответил пассажир, оскаливаясь с фальшивой любезностью человека, чувствующего свое превосходство. – Вы любитель балета?

– Меня зовут Франгейт, – сказал молодой человек, – я плохо знаю, что такое балет. Меня интересует, не знаете ли вы также другой подобной артистки, – ее имя Карион. Карион Фэм.

– Но это – одно лицо, – вмешался человек с длинными волосами, с пышным галстуком и измятым лицом. – Сценическая фамилия интересующей вас артистки Грен. А настоящая – совершенно верно – Карион Фэм, хоть я удивляюсь, как вам стало известно настоящее ее имя.

Пропуская бесцеремонность тона, Франгейт, помолчав, спросил:

– Но почему же она переменяла имя? Так, я слышал, бывает в монастырях. Разве поступивший на сцену уходит от жизни? И главное – «Карион Фэм» гораздо красивее.

– Пожалуй, – сказал капитан парохода, – пожалуй. Вроде как бы и уходит. Уходит от многого.

Франгейт снова раскрыл рот, но общество, заметив его надоедливое оживление, поспешно забалагурило. Он отошел и стал смотреть на темную воду, бегущую под водоворот колес. Впереди, как бы нависшая в воздухе, светилась пелена огней. – «Скоро ли Сан-Риоль?» – спросил он матроса. – «Вот – это он виден», – сказал матрос.

IX

Перед последним актом спектакля через тонкие перегородки уборных слышался ретивый мужской смех, лукавый, сдержанный шепот и гневные восклицания. По коридору хлопали двери, вдали играла музыка, перебиваемая шорохом и стуком кулис.

В уборной Элен Грен стояли два человека: она и грузный господин с умным порочным лицом. Девушка, нервически оправляя окружающую ее гибкий стан стрелой газового кольца, трепещущую, как туман, юбку, сдержанно, но тяжело дышала, улыбаясь и смотря вниз; ее губы были искушены от волнения, ноги машинально переступали на месте. Ниже колен, под шелковым трико, видны были вздувшиеся веревкой вены. По напудренному лицу пробежала мгновениями глубокая бледность.

– Так это было хорошо, Безантур?

– Отлично, маленькая моя. Теперь тебе предстоит нанести последний удар. Симпатии вернулись к тебе. В антракте Глаубиц сказал, крепко пожав мне руку: – «Она восхитительна. К ней вернулась вся прежняя экспрессия. Боюсь, что Марианна сегодня проведет плохую ночь. Пишу статью, равную блеску ног Элен Грен», – и он усмехнулся, очень довольный.

– Поддай мне кокаин, – быстро сказала Карион.

Безантур взял с ее туалетного стола хрустальный флакон и зацепил в нем крошечным серебряным острием ложечки немного белого порошка. Девушка втянула его, как нюхают табак, прижав одну ноздрю, затем другую. Краска вернулась к ее лицу, глаза стали ненормально блестеть. Теперь она не чувствовала усталости.

Уже музыка начинала то место, с какого должна была выступать Элен Грен. Волнуясь, подняла она голову и вышла к расступившейся перед ней толпе закулисных гостей, толкающихся в проходах сцены.

Режиссер, поддерживая балерину под локоть, вывел ее к кулисе. – «Раз... два...» – считал он. Затем танцующее, ею самой не чувствуемое тело в облаке газа было передано силой музыки и момента ослепительно яркому помосту, полному женской толпой с заученной неподвижной улыбкой гримированных лиц и открытой пастью авансцены, где в глубоких сумерках притушенных ламп слышалось сдержанное напряжение зрителей.

Только что Марианна Дюпорт кончила свое соло, покрытое, после глубокой паузы, ревом аплодисментов. Теперь должна была танцевать соло Элен. Оркестр начал быстрый, плывущий мотив. Уже чувствуя победу по холоду рук и ног, пробегающему иногда сквозь все тело болезненной электрической волной, Карион выбросилась из рук партнера, поднявшего ее выше головы, с силой птицы; едва коснувшись земли, немедленно завладела она сценой и зрителями, стре-

мясь вверх такими быстрыми и сильными движениями, что оркестр вынужден был ускорить темп. Несясь мимо левого угла сцены, мельком взглянула она на вызывающее лицо Дюпорт.

– Карион! – раздался взволнованный мужской голос из первого ряда кресел. – Я, верно, угадал сразу. Но сомневался, так как ошибиться было бы глупо. Смотри. Лови. Это твоя метка на иве.

Ее как будто ударили по ногам. Следуя обычаю, быстро нагнулась она поднять венок или то, что мелькнуло в воздухе, как венок. Это был связанный кольцом ивовый прут с редкими молодыми листьями. Она подняла и, вся вздрогнув, старалась некоторое время понять, что все это значит. Наконец сцена на берегу выступила среди волнений этого вечера хлестким и неприятным ударом, напоминающим холодную каплю дождя, упавшую на лицо в разгаре веселья огненного летнего дня. Ее порыв согнулся и смолк, сердце упало; легкий гнев вместе с холодным любопытством остановил упительное движение, и Карион, выпрямившись, просительно посмотрела на то место первого ряда, где сияло загорелое лицо привставшего и махающего рукой Франгейта.

Заставив себя кивнуть, она сделала это вполне театрально, хотя с упреком себе. Вся сцена, включая кивок, длилась не более минуты – минуты, в течение которой было совершенно нарушено равновесие духа одной женщины и укрепилось – другой. Карион, не оглянувшись, ушла с раздражением; ее

проводил несколько приподнятый шум ровных аплодисментов. Так на весы успеха одинокий человек из ивовой заросли бросил решительный груз – не в пользу своей любви.

Окруженный легкой атмосферой скандала, выражаемой изумленными или негодующими взглядами, Франгейт просидел тихо, с упавшим сердцем, до занавеса. Он чувствовал, что она уедет. Он видел, как девушка передала ветку руке, высунувшейся из-за кулис, и множество раз ошибаясь всевозможными переходами, спрашивая с краской в лице, как идти, попал в коридор, где газовые рожки делали белый день среди ночи. Рассеянно посмотрев на змеиные глаза горничной, он стукнул в заветную дверь одновременно рукой и сердцем, затем очнулся среди цветов, разбросанного платья и зеркал. Здесь пахло тяжелыми ароматами и жженым волосом.

– Здравствуй, дикое прошлое, – полусмеясь и прислушиваясь к шуму за дверью, сказала девушка. – У тебя уже борода. Ты слышал обо мне. Как? Где? Что значит твоя оригинальная выходка? О, если бы ты подождал немного! Ведь ты зарезал меня. Я сразу устала, у меня был очень трудный момент... меня сильно избили. И все пропало...

Франгейт не кончил. Он потрепал ее руку, дружески хлопав холодные пальцы своей сильной рукой.

– Я знаю, что тебе тяжело, – сказал он, – я чувствовал, что тяжело; потому и разыскал и приехал к тебе. Но дай взглянуть.

Он обвел ее лицо пристальным взглядом. От прежней Карион сохранилась лишь упрямая верхняя губка и глаза, – остальные черты, оставшись почти прежними, приобрели острый оттенок лихорадочной жизни.

– Ты похудела и очень бледна, – сказал он, – это, конечно, оттого, что нет света наших долин. Смотри, как у тебя напряжены на руках жилы. Твое сердце слабеет. Бросай немедленно свой театр. Я не могу видеть, как ты умираешь. В каких странных условиях ты живешь! Здесь нет нашей ивы, и наших цветов, и нашего чудесного воздуха. Тебя, верно, здесь держат насильно. Однако я здесь, если так. Ты будешь снова розовой и веселой, когда перестанешь портить лицо различными красками. Зачем ты назвалась Элен Грен? Вместе с именем как будто подменили тебя. Разве не ужасает тебя жизнь среди этих картонных роз и холщовой реки? Я видел нарисованную луну, когда сюда шел, – она валялась в углу. Тебе надо быть здоровой, как раньше, и бросить этот убийственный мир. Слушай... я говорю много оттого, что мне дико и непривольно здесь. Слушай: давно уже, так как я хорошо знаю реку, зовут меня лоцманом на два парохода, и ты будешь жить со мной спокойно, как твоя рука, когда лежит она ночью под головой. Вспомни, как золотист и сух песок на ивовой заросли, вспомни купанье и как кричала ты утром пронзительное «а-а» и болтала ногами. Идем. Идем, Карион, скоро будет обратный пароход, в три часа ночи, – погода отличная.

Говоря так, он притягивал и целовал ее руки, заглядывая в глаза.

Она отняла руки.

– Ты... ты говоришь очень смешно, Франгейт. Думаешь ли ты о том, что говоришь?

– Я думал все время.

– Знаешь ли ты, что такое «артист»? Артист – это человек, всецело посвятивший себя искусству. Я уже известна; вот-вот – и слава разнесет мое имя дальше той трущобы, где я родилась. Как же ты думаешь, что я могу бросить сцену?

– Прут был посажен тобой, – кротко возразил Франгейт, – случилось истинное чудо, что он дал листья. Я всей душой хотел этого. Это была твоя память, и ты поклялась ею, что возвратишься. Разве я не могу верить тебе?

– Нет, можешь, – сказала она с трудом, вся дрожа. Ее взгляд стал остер и неподвижен, лицо побелело. Взяв шарф, она, не сводя взгляда с Франгейта, стала медленно окутывать им шею, смотря с открытой и глубокой ненавистью. И вся она напоминала теперь отточенный нож, взятый неосторожной рукой.

Франгейт смолк. Несколько выражений пробежало в омраченном его лице: боль, тревога, нежность; наконец, залилось оно глубоким, ярким румянцем.

– Нет, – сказал он. – Я не хочу жертвы, я пришел только сказать, что ива цветет и что не поздно еще. Простите меня, Элен Грен. Будьте счастливы.

Так он ушел и очутился на улице, идя совершенно спокойно, как для прогулки. На темной площади встретил его неподвижно ожидающий Рауссон, шепча на ухо тайные, заманчивые слова. Но у него хватило силы подождать ровно три года, пока снова не зацвело сердце, как та ива, которую спрыскивал хлорофиллом доктор растений.